Каринэ Арутюнова

Душа баклажана

Часть сборника
Трава была зеленее, или
Писатели о своем детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Вместо Господа Бога у нас был Он.

Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.

«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».

Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады…»

- Каринэ Арутюнова
  - ○

Каринэ Арутюнова
Душа баклажана

Вместо Господа Бога у нас был Он.

Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.

«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».

Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады…

Мы всегда могли задрать головы и убедиться в том, что он существует. Рядом. Всегда живой. Добрый и чуткий. Если и мог пригрозить, то с отеческой укоризной, с прищуром дальновидных глаз.

Все детские утренники, начиная с новогодней елки и заканчивая днем космонавта, происходили в непосредственной близости от Него. Даже если это была только голова, скромный бюстик, мраморный, бронзовый, любой.

Шаркая чешками, мы приседали, кружились в хороводе, взявшись за руки, пели и декламировали, кто в лес, кто по дрова.

Танцевать я была мастак. А вот с декламацией дело обстояло из рук вон.

Прочувствованные тексты мне не доверяли. Интуитивно ощущали слабину.

И если в костюме снежинки или кабачка я была неподражаема…

Лучше всего удавались мне бессловесные роли. Без идеологического подтекста.

То ли дело Леночка Е. – предмет моего восторга.

Ладненькая, ясноглазая, она четко проговаривала все гласные и согласные, шипящие, рыкающие. Восхищенный зал аплодировал стоя, в то время как я, бессловесный овощ, делала пассы, семенила, притоптывала и раскачивалась, как того требовал сценарий.

По сценарию я была баклажан.

Конечно, это было обидно. Порой хотелось откинуть лиловое забрало и, так же блистая глазами, воскликнуть:

– Ленин всегда живой!

Но мне вряд ли поверили бы.

С грустью я провожала глазами тех, кто удостоился.

Из октябрятского значка я выросла, до галстука не доросла.

Тот, первый, купленный в отделе галантереи, – неподалеку красовались пугающие размерами и формой предметы женской

гордости, но до этого было еще далеко, и потому равнодушным, хоть и встревоженным взглядом скользила я по всем этим выпуклостям, – мало что могло взволновать меня тогда, в эти предзимние месяцы.

Меня туда не впускали, как прочих, – недостойна, недостойна, – ну да, живости во мне было хоть отбавляй, и на линейке я облажалась, выпалив какую-то очевидную всем дурость, и приближались ноябрьские – они вселяли хрупкую надежду всем недостойным, – а оставалось нас трое, – я, уверенная (по крайней мере, в первой четверти) хорошистка, и еще двое.

Существа из низшего (как казалось мне) сословия – абсолютные пофигисты, двоечники, неудачники. Маргиналы.

Объединяло нас одно – неблагонадежность. Да, все-таки в среднем у меня был «уд» по поведению, но дневник пестрил хищными росчерками и знаками, выражающими степень крайнего возмущения и угасающей надежды – «Опять! Забыла!!!! В последний раз! Почему????»

Я постоянно забывала – дневник, тетрадь, прийти, надеть, пришить, – о, эта утренняя и вечерняя мука – торопливого пришивания, отпарывания и опять пришивания воротничков и манжет.

Я забывала дневник, показать дневник, сдать рубль, сдать пять…

В общем, веры мне не было.

Пионервожатой была длинноногая Людочка, – она так лихо носила прелестную, обтягивающую бедра юбку, а галстук так дерзко развевался на юной груди, – о, боги, – я шла за нею по пятам, мечтая хоть на секунду стать такой же – взрослой, уверенной в себе, собирающей десятки восхищенных взглядов.

Я мечтала о пионерской форме – я бредила этой юбочкой, и рубашечкой, и алой атласной тканью.

– Возможно, на ноябрьские, – небрежно обронила она, деловито цокая каблучками, и сердце мое преисполнилось.

Вы помните, сколько стоил галстук?

Мечта девятилетней девочки, застывшей у прилавка в галантерейном отделе.

В тот день было холодно, еще не мороз, но конец осени, хмурый ноябрь.

Я шла в распахнутом пальто, с трепещущим, развевающимся – да, именно так, плещущимся на ветру…

Обряд инициации состоялся. Запах нежилого помещения, свежей мастики, волнения – мы взмокли как воробьи, последние из могикан, неблагонадежные и неперспективные.

Я шла по красной дорожке.

Каждый шаг отдавался в ушах, в глазах рябило от белого, алого, багрового…

Я ощущала себя… бабочкой, прорвавшей кокон.

Новенький галстук, сданный еще накануне, с прохладным шелестом коснулся щеки.

Я видела себя идущей по главной аллее, входящей в подъезд, – всех соседей, изумленно приветствующих меня, – злобную Ивановну, ее мужа – белоглазого полицая (как выяснилось, он и был полицаем, но это другая история), жирнягу и задавалу Сомова из второго подъезда, а главное, Женю Розенфельда, который в прошлый четверг засунул мне за шиворот дохлую гусеницу.

Рокот барабанных палочек. Срывающийся голос – шепот? крик? – мой? чужой? общий?

Я опять забыла слова. Я открывала и закрывала рот, умоляюще поглядывая на застывших в почетном карауле пионеров.

Шевеля ледяными губами, я замерла под немигающим бронзовым взглядом.

Ведь даже у бессловесного баклажана есть душа.

Маленькая, лиловая, смешная, она тянется к свету, к торжеству справедливости, она, если хотите знать, за мир во всем мире, – за это… пролетарии… всех… проклятьем заклей… менный..

К счастью, рокот палочек заглушил все прочие звуки, слова и междометия.

Мои, пионервожатой Людочки, приглашенного по случаю ответственного товарища из гороно…

Он заглушил сдавленное похрюкивание в задних рядах и облегченный выдох по окончании торжественной церемонии.